

## Глава 13

### 1972 год — борьба за визу

Национальный вопрос.

«Переговоры» с Михалковым.

Отречение сына. Голодовка в ЦК.

Обращение об отмене смертной казни. Арест. «Генерал Карпов»

1972 год был самым сумасшедшим годом в моей жизни и самым длинным, равным по насыщенности многим обычным годам. Был это, наверное, и самый счастливый год — потому что я жил тогда в атмосфере человеческой солидарности и единения. И была яркая цель — вырваться из «тисков кошмара», и впереди светилась новая жизнь — верилось, что прекрасная. Удалось бы только вырваться!

Солидарность и единение. Если у кого-то шел обыск, то все, кто узнавал об этом, кидались в дом к пострадавшему, чтобы поддержать его морально и мешать обыску. Если сотрудники КГБ не пускали в квартиру, люди проводили всю ночь на лестнице в подъезде, в жару и в мороз. Так же в любую погоду простаивали у зданий суда, если там шел процесс над кем-то из диссидентов, чтобы иметь возможность прокричать несколько слов поддержки подсудимому, когда его будут вводить или выводить из суда.

Когда во время юбилейной сессии и Верховного Совета СССР в сентябре 1972 года меня арестовали, то сына немедленно взяла к себе семья моих товарищей по движению, чтобы у жены были свободные руки. Ей всячески помогали, кормили, когда она возвращалась домой после хождений по приемным различных органов, пытаюсь узнать, где находится ее муж и за что он арестован. Власти, как это было тогда принято, заявляли, что ничего не знают о судьбе арестованных.

И все диссиденты были счастливы такой жизнью. Потом это время все так и вспоминали. Большинство этих людей считали себя антикоммунистами, антисоциалистами, антиколлективистами. Ирония, однако, заключалась в том, что счастье доставляло им именно единение с людьми, совместная борьба и взаимопомощь. Все мы жили тогда по идеалам социализма: в свободе (мы были внутренне свободны, как никогда), равенстве и, главное, в братстве. И никакие расхождения во взглядах не сказывались на наших отношениях. Господствовала терпимость к чужим взглядам. Потом-то я понял, что это была целиком заслуга КГБ: под его занесенным кулаком люди жались друг к другу. В подавленном состоянии находились и зависть, и тщеславие, столь распространенные в российском образованном обществе.

Были, конечно, отдельные неприятные типы, у кого-то проглядывали малопривлекательные черточки, но разве можно было обращать на это внимание, когда спасение было лишь в сплоченности!

В тот год я окончательно убедился в правоте своей гипотезы, изложенной в рукописи «О самом главном», гипотезы о том, что «человек нравственно проявляется человеком в самостоятельном объединении с другими людьми для реализации или защиты своих прав и интересов». И что вырос человек из обезьяны не столько благодаря труду, сколько благодаря самостоятельному объединению в эпоху «первобытного коммунизма». Когда же становится необ-

ходимо для выживания разъединяться — каждый сам за себя и все друг против друга, — тогда люди снова начинают превращаться в обезьян и хуже того.

Поразили меня в этой связи строки Иосифа Бродского:

Шарик обычно стремится в лузу.  
Не Конкуренции, но Союзу  
принадлежит прекрасное завтра.  
(«Речь о пролитом молоке», январь 1967 года)

Здесь я, правда, стою правее Бродского: «Союзу», на мой взгляд, может полностью принадлежать лишь «прекрасное послезавтра», а завтра необходим синтез «Конкуренции» и «Союза». Но в понимании природы человека мы с ним, видимо, очень близки.

Вернусь к событиям. По отношению ко мне власти заняли необычную позицию: мне не давали ни отказа, ни разрешения. Другого подобного примера я не знал. ОВИР молчал, не реагируя на мои напоминания. Но я не унывал.

После подачи заявления в ОВИР на визу мне уже не приходилось опасаться попасть на глаза КГБ, и я быстро втянулся не только в эмиграционное движение, но и в правозащитное. Я сознательно шел на риск, чтобы поставить КГБ перед выбором: либо выпустить меня, либо посадить. Я старался быть максимально активным и как можно больше досаждал КГБ, чтобы вызвать у них желание избавиться от меня.

В противном случае они могли бы мариновать меня (не давать визы на выезд) долгие годы. Я рассчитывал на то, что на арест и суд им будет не очень удобно идти, так как мое дело могло приобрести большую огласку за рубежом.

В то же время я держал втайне свои планы — работать на Западе над идеями синтетического социализма и публиковать мои изыскания на эту тему. Я понимал, что не должен вызывать у КГБ подозрений в том, что могу оказаться на Западе опасным для режима. Я боялся, что если в КГБ узнают о моих планах, то визу я вряд ли получу.

Между тем уже вскоре после отправки мною документов в Израиль для получения визова в КГБ стало известно об этом. Из Будапешта жене позвонила ее мать и в волнении стала допытываться, неужели мы действительно решили эмигрировать? Отец жены с 1968 года работал в руководстве Международного института журналистики, располагавшегося в Будапеште и выпускавшего, понятное дело, «журналистов в штатском». Он возглавлял там отдел связи с выпускниками института — чистая работа резидента КГБ!

На наивный вопрос жены, откуда ее мать узнала, что мы хотим эмигрировать, она ответила, что отцу об этом сообщили его «старые друзья». И стала умолять, чтобы мы не уезжали, что отец, если мы откажемся от эмиграции, найдет для меня любую самую замечательную работу. Поздновато спохватились! Наша эмиграция, понятное дело, ставила точку в карьере тестя. После нашего выезда он вынужден был уйти на пенсию и вернуться в Советский Союз.

Осуществляя свою «стратегическую» линию, я всячески наращивал давление на власти, на КГБ. Инициировал и составлял различные письма протеста в защиту диссидентов, подвергавшихся репрессиям. Несколько моих писем были подписаны Сахаровым, и я подписывал его обращения.

Сблизился с иностранными корреспондентами, с «коррами», как мы их тогда для краткости называли, и помогал проводить пресс-конференции, часто предоставляя для этого нашу квартиру, благо мама жила на даче. Жена на этих пресс-конференциях работала переводчиком и также переводила (на английский) наши протестные письма и информацию для «корров» о правонарушениях. Поставлял я информацию и в «Хронику текущих событий» — главный орган правозащитного движения.

По просьбе одного из ведущих правозащитников, Юрия Шихановича, я взял шефство над представителями движения крымских татар за возвращение на родину. Знаменитый Мустафа Джемилев со своим спутником даже ночевал в нашей квартире. Это была уже весьма рискованная работа. За крымских татар КГБ могло голову оторвать. В рядах их движения были не сотни, а десятки тысяч людей. Когда татарские активисты принесли мне составленную ими петицию в ООН, чтобы я передал ее надежным «коррам», то это оказался толстый сверток, толщиной с большой батон. Тысячи подписей стояли под петицией! Корреспондент Би-би-си Эрик Демани, с которым я более всего был связан и которому хотел передать петицию, растерялся: как ее вынести? Он привык к правозащитным и «еврейским» письмам, подписи под которыми укладывались на одном листке, и не взял с собой портфеля или сумки. Пришлось снарядить для него большую авоську, набив ее какими-то вещами.

Между прочим, Эрик Демани принял горячее участие в моей судьбе. Узнав, что я хотел бы жить в Англии, он заранее выхлопотал для жены место на Би-би-си, переводчицей в русской службе, а мне через своих друзей подыскал место «спикера», ассистента профессора, на кафедре русского языка и литературы в каком-то университете Лондона с относительно небольшой нагрузкой, чтобы у меня оставалось время для литературной деятельности. Главным добытчиком денег должна была стать жена. Планам этим не суждено было осуществиться из-за рождения дочери в Риме.

Не прошло много времени, как я попал под плотную опеку КГБ. Поражала многочисленность их кадров и их чрезвычайное внимание к нам — до смешного. За мной и за женой постоянно следовали группы сексотов, дежурили у подъезда, сопровождали в городском транспорте. Был такой, к примеру, анекдотический случай. Жена собралась за сыном в детский сад Литфонда, который находился в районе «Аэропорта», далеко от нашего дома на Арбате. Опоздывала и проголосовала машину. Подъехала черная «Волга», жена предложила рубль, шофер не стал торговаться. Но когда машина тронулась, жена заметила, что сзади пристроилась еще одна черная «Волга», в которой сидели «пассажиры». Заметила, и как водитель поглядывал в свое зеркало, не отстала ли та «Волга». Она, конечно, перепугалась, но ничего не случилось — с эскортом проехала через всю Москву до детского сада. Было очень похоже на то, что кадрам КГБ просто делать было нечего.

Со временем у меня и у большинства диссидентов выработалось «шестое чувство» в определении этих кадров. Входишь в одну дверь троллейбуса, а в другую входит пара ничем приметных граждан, но ты уже знаешь, что это твой «хвост», и они знают, что ты их «вычислил». У подъезда стоит влюбленная парочка. Взгляд на них — и уже ясно, откуда эти любовники! Я не преувеличиваю. Вот, к примеру, что произошло уже в эмиграции, в Италии. Поначалу я, пока не разобрался, поддерживал отношения с НТС, и в Риме меня однажды пригласили на вечеринку к местному резиденту этой «патриотической» организации. Стою, разговариваю с хозяйкой дома, очень милой шведкой, знающей, естественно, русский язык. Она пред-

ставляет мне гостей — кто есть кто. Заходит новый гость, господин средних лет, и у меня при взгляде на него возникает этакий холодок в животе. Кто это, спрашиваю хозяйку. Это, тихо говорит она, руководитель контрразведки НТС, бывший полковник КГБ (или подполковник, не помню), недавно перебежавший на Запад. Все ясно! Я с благодарностью поглаживаю свой чуткий живот.

Но кадры КГБ не всегда были столь безобидными, как в случае с моей женой. Когда весной того же года в сквере около памятника героям Плевны (т. е. недалеко от ЦК КПСС) собралась толпа активистов еврейского движения за эмиграцию и стала петь еврейские песни, там вскоре появилось множество милиционеров и «людей в штатском», и они учинили форменный погром. «Жида проклятые, наконец-то мы до вас добрались!» — кричали «штатские», избивая демонстрантов. Одной девушке разорвали рот.

Здесь я хочу затронуть вопрос о моей национальной самоидентификации. В период борьбы за израильскую визу я несколько преувеличивал свое еврейство и не афишировал, что не собираюсь ехать в Израиль. Таковы были правила игры.

На самом же деле я не считал (и не считаю) себя евреем. Еврейского языка, увы, не знаю, нет и знания еврейской культуры. Не прошел я и обряда обрезания, за что очень благодарен моим родителям. Все подобные обряды, включая крещение, я считаю насилием над личностью детей и рудиментом язычества, шаманства. Только став взрослым, человек может сознательно примыкать к какой-либо конфессии (или не примыкать ни к какой). Но вернусь к вопросу об идентификации. Я не считаю себя и обрусевшим евреем. Обрусевшими были мои родители. Но при всем при том я и русским себя не числю. «Пятый пункт» в советском паспорте плюс антисемитизм значительной части русского населения не позволяют мне представлять себя русским. Я влюблен в русскую классическую литературу, в старинную народную русскую песню (даже удивляюсь, почему она так берет меня за душу?), но русским себя не считаю.

Чтобы не вдаваться каждый раз в долгую «философию», русским говорю, что я — еврей, а евреям, особенно националистичным, — что русский.

Если бы я родился и жил, скажем, в США, то никаких проблем с национальной принадлежностью у меня бы не существовало. Был бы просто американцем, гражданином страны.

Национальный вопрос меня в целом мало волнует. Любой национализм в конечном счете — тупик. У больших народов он опасен, близок к фашизму, у малых — жалок и смешон. В том числе и национализм еврейский. Антисемитизм задевает меня главным образом потому, что ущемляет мое человеческое достоинство и гражданские права, ну и как всякая ложь, как оружие фашизма.

«Фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами!» — как гениально просто определил Эрнест Хемингуэй.

Чуждо мне и такое понятие, как национальная гордость. «Наши предки Рим спасли!». Гордиться можно только собственными достижениями детей.

А вот что я считаю достойным внимания, так это вопрос о праве на самоопределение народа и личности. Я — безусловный сторонник такого права, включая право народов на создание собственной государственности, т. е. на выход народа из государства, в которое он ранее был встроен. Там, откуда нет свободного выхода, нет и свободы! Я так это формулирую: «В цивили-

лизованном, демократическом обществе есть только два места, откуда нет свободного выхода: тюрьма и сумасшедший дом!». Россия в этом отношении была и остается «синтезом» того и другого.

Примечательным событием того последнего на родине года стал звонок Сергея Михалкова. Дело в том, что моя первая жена (и мать моего старшего сына), желая помешать моему выезду, не давала мне бумагу для ОВИРа об ее отношении к моему решению эмигрировать, о наличии или отсутствии у нее материальных претензий ко мне. Сделать это она должна была согласно закону, так как с нею оставался мой несовершеннолетний сын. Без такой бумаги ОВИР не принимал заявлений о выдаче разрешения на эмиграцию.

Таковую же бумагу должна была дать и моя мать, и она это сделала, написав, что не возражает против моего выезда, хотя она рисковала, что ее после этого могут выбросить из кремлевской больницы.

Ветераны научили меня, как преодолеть сопротивление бывшей жены: надо отправить письмо ее начальнику по работе и потребовать, чтобы он принудил свою подчиненную выполнить требование закона — дать отношение в ОВИР. В противном случае надо пригрозить начальнику, что ты предашь дело огласке в западной прессе. Моя бывшая жена работала тогда в Союзе писателей РСФСР под началом у великого «гимнописца».

Я последовал совету моих товарищей — отправил Михалкову письмо. И вскоре раздался телефонный звонок — я услышал в трубке знакомый, заикающийся голос Сергея Михалкова. Он, нервничая и заикаясь больше обычного, сказал мне, что моя бывшая жена выдаст мне отношение для ОВИРа, и затем, используя отборную «ненормативную лексику», высказал свое отношение к моему желанию эмигрировать. Он был взбешен моим решением и предполагал, видимо, что его брань останется без ответа. И по телефону я ему, конечно, не нашелся что сказать, послушал, послушал и положил трубку. А потом написал ответ, который одновременно пустил в самиздат. Письмо это было аннотировано в «Хронике текущих событий» и вошло в книгу знаменитого тогда корреспондента Би-би-си в СССР Дэвида Бонавия «Саша Толстяк и городской партизан», написанную по впечатлениям от жизни в России. Передавалось письмо и по «вражеским радиоголосам». Приведу его несколько сокращенный текст.

### **Открытое письмо Председателю правления Союза писателей РСФСР Сергею Михалкову**

Своим гневным монологом в разговоре со мной по телефону Вы натолкнули меня на мысль высказаться по поводу моего решения выехать в Израиль.

«Я уверен, — кричали Вы мне, — что услышу ваш голос по «Голосу Израиля»! Вы будете оттуда поливать нас грязью, а я сейчас вас поливаю!». И Вы, действительно, выплеснули на меня ушат подзаборной брани, вполне достойной человека, которого «вырастил Сталин». И вот я решил написать Вам это письмо, чтобы не заставлять Вас долго ждать.

Итак, Вы безмерно возмущены моим решением уехать в Израиль. А чего еще можно было ожидать от Михалкова?! — удивляются многие. И это, конечно, верно. Но все-таки я считаю, нельзя оставлять без ответа подобные вещи. Вдуматься только, человек, причастный ко всему,

что породило в стране позор антисемитизма, человек, слагавший гимны Сталину в то время, когда расстреливали писателей, членов антифашистского комитета советских евреев и пытали «врачей-отравителей», имеет сейчас «смелость» возмущаться желанием евреев уехать в свою страну. К этому возмущению поэта Михалкова очень подходят известные слова Михаила Калика: «Соловей, соловей! Слышу топот твоих копыт!»<sup>1</sup>.

«Надо было работать, а не тунеядствовать!» — обличали Вы меня по стандартному штампу.

...За Вашим возмущением и оскорблениями угадывается также и Ваше смятение перед тем фактом, что поток людей, добывающихся выезда в Израиль, непрерывно нарастает изо дня в день. Уезжают известные артисты, художники, инженеры, ученые. И в этом ряду мой случай для Вас, как я понимаю, хотя и не очень значителен, но неприятен своей символичностью.

«Вы позорите своего отца! — кричали Вы мне. — Он вернулся из Америки, чтобы участвовать в революции, а вы уезжаете на Запад, чтобы пресмыкаться перед всякой сволочью!».

...Вы помните нашу последнюю встречу в Доме литераторов на похоронах моего отца? Вы выразили мне тогда свое соболезнование и поспешили вернуться к руководству советской литературой, а я с пятью-шестью стариками, друзьями и родственниками отца, провожал его гроб в крематорий. И вот, в крематории меня вызвали к канцелярскому окошку и предложили заполнить очередную анкету. Я написал фамилию отца и вернул бумагу обратно, но... «Национальность?» — потребовали из окошка. Я привык к этому вопросу в анкетах и документах нашей интернациональной страны. Я отвечал на этот вопрос даже в анкете для желающих купаться в бассейне, но тут, в крематории! «Еврей!» — закричал я в окошко. Вот и все, что оказалось необходимым сказать о моем отце у его последней черты.

И я хочу уехать из этой страны, чтобы перестать быть гражданином «пятого сорта». А самое главное, я пришел к выводу, что не могу быть здесь полезным ни самому себе, ни еврейскому, ни русскому народу».

Забегая вперед, хочу заметить, сколько неуважения к людям надо было иметь В.В. Путину, чтобы поручить Михалкову сочинить новый текст гимна! И какую бездну бесстыдства продемонстрировал этот человек, сподобившийся заменить славословие Сталина словами о Боге, хранящем Россию! Один только этот эпизод с гимном говорит о том, какой смердящий режим установился сейчас в стране.

Был еще и другой по-настоящему трагический звонок. Позвонил мне мой старший сын и произнес длинный и гневный монолог о том, что он, узнав о моем намерении эмигрировать, отрекается от меня, ничего от меня принимать не будет и знать меня больше не хочет! Ему было тогда 16 лет. Как я уже говорил, мы с ним очень дружили, ходили вместе в походы, катались на лыжах. Он был не по возрасту умен и глубоко вникал в мои идеи. Учился в математической спецшколе, и именно от него я впервые узнал о еврейской эмиграции: он присутствовал на проводах своих товарищей по школе, уезжавших с родителями в Израиль. Однажды, после того как я рассказал ему о своих приключениях, он заметил, что при такой жизни мне в пору было бы и самолет угнать! Он имел в виду нашумевшее тогда дело «самолетчиков»,

---

<sup>1</sup>Цитата из открытого письма кинорежиссера Михаила Калика, тоже добывавшегося разрешения на эмиграцию.

группы «отказников», пытавшихся угнать в Ленинграде самолет и улететь в Швецию, чтобы уже оттуда перебраться в Израиль.

И вот после всего этого — отречение от отца! Потом, когда я уже выехал за границу, сын передал мне через своего друга, что он боялся, как бы моя эмиграция не помешала ему поступить в физтех<sup>1</sup>, где он хотел учиться. Он знал, что мой телефон прослушивается, и говорил для «них». Передал также, что понимает мое решение и сам постарается приехать ко мне после окончания института.

После звонка сына его мать добилась от меня согласия на отказ от отцовства, чтобы сын мог взять фамилию и отчество ее отца. Она поставила это условием выдачи мне упомянутого выше отношения для ОВИРа. С тех пор сын носит незапятнанную фамилию и отчество своего деда.

В целом — кафкианское уродство советской жизни! Ведь моя бывшая жена догадывалась, что в КГБ все равно будут знать об истинном положении дел, но с помощью телефонного отречения и смены отцовства она хотела доказать свою лояльность властям в надежде на снисхождение к сыну.

Я не уверен, что надо было это делать. Не сталинское уже было время, и я не слышал, чтобы кто-нибудь отрекался от уезжающего отца, но и не могу мою бывшую жену осуждать. Как не могу не вспомнить и формулу Иосифа Юзовского: то, что представляется возможным, рано или поздно может оказаться необходимым.

Еще одно проявление «сюра» в этой истории состояло в том, что ректором физтеха в те годы был мой двоюродный брат — академик Олег Михайлович Белоцерковский. Его отец был родным братом моего отца, но мать была русской, и он, соответственно, имел «русский» паспорт и простор для карьеры. Я с ним виделся, наверное, два-три раза в жизни. Он вращался в других, высших сферах и был, на мой взгляд, очень советским человеком. С моим сыном он знаком не был, но на выпускном торжестве, как рассказал мне сын, вручая ему «красный» диплом с отличием (ректоры лично вручали «красные дипломы»), очень долго и внимательно на него смотрел. Он, конечно, — это я говорю, — прекрасно знал от своих кадровиков, кому вручает диплом.

Между прочим, и второй мой двоюродный брат (родной брат академика), Сергей Михайлович Белоцерковский, тоже сделал блестящую карьеру: стал всемирно известным специалистом по аэродинамике, начальником учебной части академии ВВС им. Жуковского в чине генерал-полковника, руководил научной подготовкой первых космонавтов, включая Гагарина. С ним у меня были дружеские отношения. Недавно он, увы, скончался.

С историей моего отказа от отцовства было связано и одно очень теплое событие. Чтобы оформить отказ, я отправился в нотариальную контору. Меня приняла пожилая, провинциальная на вид русская женщина. Выписывая мне справку об отказе, она вдруг негромко (в комнате были еще люди) сказала, чтобы я записал номер акта и передал его сыну. Я уверена, сказала она, что сын ваш подрастет и захочет приехать к вам. И тогда по этому номеру он сможет получить копию акта о вашем отказе от отцовства и доказать с ее помощью, что он ваш сын. И добавила: «Не переживайте! Я уверена, что так будет...».

Откуда такие люди еще берутся?! Рядом с этой женщиной у меня в памяти стоит и та молодая судья, которая в 62-м году храбро остановила попытку моей бывшей жены подвести меня под тунейдца.

В перестройку сын действительно уехал из СССР. В Москве он работал в Институте теоретической физики имени Ландау, выхлопотал научную командировку в США, взял с собой

жену и там с моей помощью (я уже имел американское гражданство) и с помощью той самой копии моего отказа от отцовства, которую он захватил с собой из Москвы, получил «грин карту» (право на жительство и гражданство), а потом и американское гражданство. Но отречение, пусть даже и фальшивое, «под запись», смена отцовства и фамилии — все это не проходит даром, остается отчуждение. Ведь все-таки это, как не верти, — предательство!

Летом 1972 года в приемной ЦК КПСС арестовали жену арестованного ранее еврейского активиста Владимира Маркмана из Свердловска. Она пыталась в приемной что-нибудь узнать о судьбе мужа. Дома у нее остались без призора двое детей! Мы с группой активистов движения за свободу эмиграции устроили голодовку протеста в этой же приемной ЦК, что располагалась на Старой площади. Мы требовали освобождения жены Маркмана. Голодовку придумали хитрую: начали ее человек пять-шесть, но каждый день число голодающих увеличивалось на два-три человека, так что к концу недели «протестанты» заполняли уже большую часть приемной. Да еще вокруг нас вертелись сотрудники КГБ в штатском. И каждый день каждый из участников голодовки вручал дежурному по приемной свой личный протест на имя Брежнева. Другие наши товарищи или наши близкие вели постоянное наблюдение за нами: по двое, по трое по очереди дежурили в приемной, сообщая немедленно о любых происшествиях «коррам» — иностранным корреспондентам. Мы целый день проводили в приемной, а ночевали, разбившись на две группы, в двух квартирах. Одна группа ночевала у меня в квартире на Сивцевом Вражке. Так мы делали для того, чтобы «активисты» из КГБ не хватали участников акции поодиночке на их квартирах.

В конце голодовочной недели в приемной появился строгий полковник кремлевской охраны и объявил нам, что мы все будем арестованы, если не прекратим голодовку и снова явемся в приемную на следующий день. Полковник указал и статью, по которой нас будут судить: за антисоветскую деятельность. По этой статье можно было заработать до семи лет лагерей.

На следующий день мы вызвали к приемной всех иностранных «корров», с которыми сотрудничали, а сами разбились на две группы. Одна группа должна была прийти в приемную к открытию, а вторая — в полдень. Это чтобы не облегчать работу КГБ, чтобы нас всех не смогли арестовать в один прием. По жребию мне выпало быть во второй группе. В полдень, собрав в рюкзак какое-то бельишко, я двинулся в приемную ЦК навстречу судьбе. Жена и один наш активист шли сзади метрах в пятидесяти, «прикрывая» меня, чтобы сотрудники КГБ не смогли перехватить меня по пути и потом говорить, что они не знают, куда человек (т. е. я в данном случае) девался.

Когда я вошел в приемную, то увидел там всех наших из первой группы. Ребята широко улыбались: «Ты что, новостей не знаешь!? Анвар Садат (тогдашний президент Египта) сегодня выгоняет из Египта всех советских советников и военных! В Кремле сейчас не до нас! Завтра нас отправят в санаторий!».

В санаторий нас не отправили, но жену Маркмана на следующий день освободили из тюрьмы, и мы прекратили голодовку.

Чрезвычайным событием того года, да и всей моей жизни, стало знакомство с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Но этому я целиком посвящаю следующую главу. Сейчас же отмечу, что по приглашению Сахарова я подписал в сентябре того года два его важных обращения к юбилейной сессии Верховного Совета СССР (тогда отмечалось 50-летие Советского Сою-

за): об отмене смертной казни и об амнистии политзаключенным. И так как тема о смертной казни остается, увы, актуальной, то я хочу по возможности коротко объяснить, какими соображениями я руководствовался, подписывая сахаровское обращение. (Сахаров в своих «Воспоминаниях» отметил, что идея создания обоих обращений принадлежала Татьяне Максимовне Литвиновой, литературному переводчику и дочери сталинского наркома иностранных дел Максима Литвинова.)

Кроме общих соображений: извечная несправедливость российского суда и жестокость тогдашних законов, согласно которым смертная казнь могла назначаться за широкий круг преступлений, многие из которых в правовых цивилизованных государствах и преступлениями не признавались, — я считал и считаю, что смертная казнь для преступника может быть или слишком легким наказанием (если речь идет о каком-нибудь изверге), или слишком жестоким, но она всегда чрезвычайно жестокое наказание для людей, связанных с вынесением и исполнением смертного приговора.

Убить (по приказу начальства), оборвать жизнь, превратить в труп только что жившего человека, притом беззащитного, связанного — это ведь едва ли не страшнее, чем самому умереть! Это противоречит природе человека. Как убивший человек будет жить после этого? Только состояние сильного аффекта, когда убийство случается, например, в ожесточенной борьбе при защите своей или другого человека жизни или в бою (за правое дело), может частично защитить психику и личность убивающего. При убийстве же по приговору не помогают никакие ухищрения — вроде казни с помощью кнопок. Нажимающий на кнопку все равно знает, что он делает. Да еще ведь неизбежна и команда конвоиров!.. О том, что им приходится делать, даже думать не хочется, настолько это омерзительно. Один крепко сидевший человек рассказывал мне, как это делается: как тюремщики заходят в камеру к смертнику, хватают его, засовывают ему в рот резиновую грушу-кляп, застегивают наручники, волокут...

К тому же у исполняющих смертный приговор всегда остается сомнение, не произошло ли судебной ошибки, не сфабриковано ли обвинение?

Есть много людей, которые и животных не в состоянии лишить жизни. Я, будучи еще подростком и проходя стадию первобытного человека, мог отрубить голову курице для матери, которая сама этого делать уже не могла, но и тогда было потом очень тяжело, отвратно на душе. И с какой-то поры я почувствовал, что больше не могу убивать животных. А тут — умерщвлять человека!

Не должны мы упускать из виду и то обстоятельство, что среди исполнителей смертных приговоров могут быть психически ущербные люди, склонные к насилию, садизму, убийству, и что их участие в экзекуции может спровоцировать их преступные наклонности.

Таким образом, *вынося смертный приговор одному человеку, судьи приговаривают нескольких человек к духовной смерти или к тяжелому психическому увечью.*

По сведениям, которыми располагал А.Д. Сахаров, до отмены смертной казни в стране выносилось в год несколько сотен соответствующих приговоров. Точная цифра была засекречена!

Можно было бы сказать: пусть смертную казнь осуществляют те, кто выносит приговор (судьи, прокуроры, присяжные), тогда бы они по крайней мере десять раз подумали, прежде чем вынести смертный приговор, но и их, разумеется, нельзя подставлять под разрушительное воздействие акта убийства.

Не понимать этого, не думать об этом могут лишь те, кто не способен стать на чужое место, в данном случае — на место исполнителей смертной казни. Но в России, увы, у большинства людей такая способность почти полностью атрофирована, что помогает им выживать.

Характерно, что обращение Сахарова не подписал Солженицын. Он объяснил свой отказ, как писал Сахаров, тем, «что это может помешать выполнению тех задач, за которые он чувствовал на себе ответственность».<sup>1</sup>

Отказались подписать обращение и многие ученые, к которым обращался Сахаров. Он упоминает академиков Петра Капицу, Имшенецкого, Лихачева. Никому из них, замечает Сахаров, не угрожал бы в случае подписания арест, увольнение, даже минимальное понижение в должности.

Еще стоит обратить внимание на то позорное для страны обстоятельство, что ровно через 30 лет после сахаровского обращения в «демократической» России Дума повторно обратилась к президенту с призывом снять мораторий на смертную казнь, принятый ради вступления в Совет Европы. Призыв этот, разумеется, был санкционирован администрацией Путина, как то положено в условиях «управляемой демократии». Между прочим, за отмену моратория высказался и «великий гуманист» А. Солженицын! Высказаться ЗА смертную казнь ему ничто не помешало!

Бредовость российской жизни состоит еще и в том, что нынешние призывы к восстановлению смертной казни имеют место в то время, когда смертная казнь фактически уже повсюду применяется, причем без суда и следствия — в Чечне! Там почти каждый день спецподразделения хватают во время «зачисток» чеченских мужчин по подозрению в причастности к боевикам (или даже без оных) и втихую расстреливают. Потом часто трупы продают родственникам.

В конце лета 1972 года в Москву приехал президент США Ричард Никсон. Американские еврейские организации требовали от него, чтобы он поднял на переговорах с Брежневым вопрос о многочисленных «отказниках».

В последний день переговоров в Кремле мне позвонил корреспондент агентства Рейтер Крис Кетлин, очень симпатичный человек, с которым я тесно сотрудничал, и предложил мне срочно встретиться с ним, чтобы рассказать, что в этот день произошло в Кремле. Он был очень взволнован. Оказывается, за предыдущие дни переговоров Никсон ни разу не заговорил с Брежневым о положении советских евреев и «отказников». В последний день на банкете Брежнев не выдержал и сам завел было речь на эту тему, но Никсон остановил его, сказав, что это этот вопрос не интересует.

Кетлин попросил меня рассказать об этом всем диссидентам. «Боюсь, вас ждут теперь тяжелые времена! — сказал Кетлин. — Брежнев получил карт-бланш от Никсона!»

И действительно, положение начало меняться к худшему. Участились аресты и судебные расправы над диссидентами. Был арестован Петр Якир, который всем казался неприкосновенным для КГБ. Шли слухи, что его пытаются. Якир скоро сдался (при этом никаких физических пыток на самом деле к нему не применяли) и стал сотрудничать со следствием, давал показания против диссидентов и даже на свою дочь! «Раскололся» и другой арестованный лидер — Виктор Красин.

<sup>1</sup>Сахаров А. Воспоминания. Нью-Йорк, 1990. С.495

В Москве диссиденты говорили о том, что власти приняли решение политзаключенных из лагерей больше не выпускать, давать повторные «срока», что в политических лагерях заключенные голодают и что вообще приближается новый 37-й год. В одно из посещений Сахарова я увидел Елену Георгиевну Боннэр, которая только что приехала из Мордовии, где пыталась получить свидание с сидевшим там в лагере «самолетчиком» Эдуардом Кузнецовым (он был первоначально приговорен к расстрелу только за намерение совершить угон!). И она подтвердила, что у заключенных уже наблюдаются признаки дистрофии.

Для желающих эмигрировать по израильским визам власти ввели драконовский закон о выплате огромного налога за высшее образование. Мне, например, за университетское образование, самое дорогое, надо было бы при выезде уплатить 15 тысяч рублей, плюс жена должна была за Институт иностранных языков уплатить 8 тысяч. Надежд достать такие суммы не было у большинства добивавшихся выезда, в том числе и у нас с женой. В то же время мы были против того, чтобы нас выкупали с Запада. Положение, в сущности, стало отчаянным, но люди держались. Очевидно, потому, что были тесно сплочены.

В ту осень, как я уже упоминал, с великой помпой отмечалось 50-летие создания СССР. Девятнадцатого сентября должна была открыться юбилейная сессия Верховного Совета.

В день открытия юбилейной сессии Верховного Совета мы решили провести большую демонстрацию протеста против налога за образование для желающих эмигрировать. Это очень не понравилось властям. В КГБ начали вызывать некоторых известных «отказников» — и стращать. В результате некоторые из них стали отговаривать своих товарищей от демонстрации. Пытались отговаривать и меня. Очень многие, мол, смотрят на меня, как я решу, льстили мне, и я должен поступать ответственно — понимать, что КГБ наверняка предпримет крутые меры и многие демонстранты могут пострадать. Среди «отказников» шли бурные совещания, и большинство приняло решение выходить на демонстрацию. Тогда в КГБ, очевидно, решили арестовать упорствующих лидеров.

Накануне днем я заметил за собой особенно толстый «хвост». Вечером, возвращаясь домой, увидел в подъезде целующуюся парочку «в штатском». В тот же вечер ко мне пришел Юрий Шиханович и сообщил, что заметил около дома оперативную машину ГБ с полным комплектом «пассажиров» и еще двух человек у подъезда. В довершение всего у меня отключили телефон. Мне позвонил активист правозащитного и «еврейского» движения Владимир Гершович, и телефон выключился в момент разговора с ним. «Ну все! — констатировал Шиханович. — Завтра тебя будут брать. Готовься. Машины у подъезда, телефон выключили, это значит — наверняка...» И добавил раздумчиво: «Где разорвется следующий снаряд?». «Следующий» разорвался примерно через две недели под ногами у самого Шихановича! Но, не зная этого, он забрал в тот вечер часть моих бумаг, которые не следовало оставлять дома ввиду возможного при аресте обыска.

Утром, собрав рюкзак с бельем, простившись с женой и сыном (ему было тогда уже восемь лет), я вышел из дома, чтобы ехать к приемной Верховного Совета, находившейся на Манежной площади. Там был назначен сбор демонстрантов. И я очень удивился, нигде не заметив «товарищей из конторы», как мы тогда называли КГБ. «Неужели передумали брать?!» Жена с сыном стояли на лестнице и в окно наблюдали за мной. Я весело помахал им рукой и зашагал к трамвайной остановке. Мы жили тогда в Тушинском районе, в однокомнатной квартире, кото-

рую получили, разменяв четырехкомнатную родительскую квартиру в Сивцевом Вражке. (Маме мы выменяли двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Мы боялись, как бы ее не стали уплотнять, если она останется одна на Сивцевом Вражке в случае нашего отъезда.)

Когда я шел к остановке, показался и мой трамвай и я потрусил к остановке. И тут услышал тяжелый топот за спиной, оглянулся — подбегали два немолодых мордворота в штатском. Как я потом жалел, что не припустил от них к трамваю: я был тогда в хорошей форме — никогда бы не догнали! Пришлось бы им ехать за трамваем и брать меня на Манежной площади — большой был бы скандал!

Двое подбежавших схватили меня за руки. «Вадим Владимирович?» — осведомились для порядка. Тут же подъехала черная «Волга». Чекисты впихнули меня на заднее сиденье, в середку, а сами сели по бокам. Тронулись.

— Предъявите ваши документы! Кто вы такие? — потребовал я по «диссидентскому уставу».

— Будто не знаете!

— Не знаю. Может, вы — бандиты!

— Бандиты! В Москве! — делано возмутились мои конвоиры.

Привезли в какие-то комнаты, сдали своим коллегам уже в форме. Я потребовал предъявить ордер прокуратуры на арест. «В свое время получите!» — был ответ. Потребовал допустить к телефону, чтобы домой позвонить. Вновь отговорка. Повезли в какое-то другое место, сдали другим гэбэшникам, и те учинили тщательный обыск, в заключение которого отобрали у меня паспорт, кошелек с деньгами (оформили на деньги какую-то квитанцию!), отобрали очки, платок, пояс и шнурки с ботинок. «Ну, это уже полный арест!» — подумал я. Не задержание в связи с демонстрацией. Я знал от ветеранов, что при задержании на время шнурки и пояс не отбирают.

Потом повезли еще куда-то. Вывели из машины и перегрузили в «черный ворон» (крытый грузовик для перевозки арестованных). Когда я вошел в него и увидел родные лица моих товарищей по борьбе, сразу понял, что это все-таки задержание на время, и кинулся обниматься с друзьями. Они весело гоготали: так же, как я, радовался каждый, кто до меня входил в «воронок» и осознавал, что это превентивный арест.

Всего в тот день захватили 15 человек, которых в КГБ считали лидерами. Мелкими порциями рассовали по подмосковным тюрьмам. Я попал в группу, которую завезли в Волоколамск, в тамошнее сизо — следственный изолятор. Так я в первый и, дай Бог, в последний раз оказался в тюрьме. Запомнилось мне там несколько вещей. Прежде всего, глаза и лица встретивших нас двух надзирательниц, женщин среднего возраста. Очень страшные были лица и глаза, грубые, какие-то нездоровые. Смотрели они на нас с жадным любопытством, с вожделием даже. Шутка ли, живые сионисты! И молодые, смазливые, ухоженные.

Другим шоком были наволочки и простыни — все из черной материи! (Пододеяльников вообще не было.) Черными были и полотенца, и занавеска на «телевизоре», как в тюрьмах называют настенные ящики с полками-клеточками, в которые заключенные кладут свои дневные пайки хлеба и кружки. В течение дня часто смотрят, цел ли хлеб? Отсюда и «телевизор». Среди нас был один парень, уже сидевший за свой сионизм, и он обучал нас всем тюремным премудростям, терминам и правилам.

Очень жестоко окно в камере было снаружи закрыто деревянным щитом — «намордником». Только маленькая щелочка оставалась, и мы часто залезали на табуретку и глядели в

нее. Виднелись полоска неба и кусочек купола далекой церкви. Захватывающее было зрелище!

Ударом оказалась и прогулка. Мы ее так ждали, и вдруг нас вывели в тесную бетонную камеру без потолка — «прогулочный дворик». Потолочное отверстие было забрано металлической сеткой, и выше пролегал деревянный мостик, по которому взад-вперед ходил охранник с автоматом, посматривая на нас сверху. В «дворике» том надо было ходить гуськом по кругу — для моциона. Через день-два мы уже привыкли и к такой прогулке и ждали ее с нетерпением.

Человек быстро входит в роль. Два-три дня в тюрьме — и ты уже узник: радуешься кусочку неба, глотку свежего воздуха, пайке хлеба.

Помню пришедшие мне на ум слова, когда я оказался в камере, обращенные к матери: «Вот твой сын и в тюрьму попал!».

Помню еще девушек-арестанток, приносивших нам пищу. Передавая нам через дверное окошко миски с баландой, они заглядывали в камеру, в глаза, улыбались призывно, явственно испытывали сексуальное наслаждение, глядя на нас. Могли бы, так в окошко пролезли...

Просидели мы в этом сизо шесть дней — пока не закончилась юбилейная сессия Верховного Совета СССР. Мы надеялись, что нас выпустят после окончания сессии, но уверены в этом не были: знали, что родные власти непредсказуемы. Однако время проводили очень хорошо: в непрерывных задушевных, откровенных разговорах, рассказах о своей жизни. Тюрьма располагала к откровенности. Шутили — если в стенах есть «жучки», богатый материал получит КГБ!

Питание было ужасное, спали на нарах с тощими матрасиками и такими же подушками, нужду справляли в унитаз без сиденья, расположенный в углу камеры около двери. Но все нам было нипочем! Сдружились так, что расставаться не хотелось.

Среди нас был молодой, высокий рыжий красавец — Шапиро, тот, который уже сидел раньше в тюрьме. Сидел за то, что отказался идти в армию, когда ожидал визу в Израиль. В него была влюблена американская еврейка, приезжавшая ранее в СССР и как-то познакомившаяся с ним. Она заочно вышла за него замуж и вела энергичную кампанию за его освобождение и выезд. Я слышал, что когда он, наконец, вырвался, то не захотел с ней жить, и там была какая-то трагедия.

Был среди нас и парень по фамилии Бабель. Он писал рассказы из еврейской жизни и пересылал их в Израиль, где их издавали. Он показывал нам письмо от израильского офицера, который писал, что читает его рассказы своим солдатам на привалах.

В тюрьме я утвердился в мысли, зафиксированной в рукописи «О самом главном», что профессии надзирателя не должно быть в гуманном обществе.

Надзиратели вызывали чувство крайней жалости. Это были сплошь психически искаленные люди. Поставьте себя на их место: годами, всю жизнь надзирать за содержанием людей в нечеловеческих условиях и иметь дело с преступниками, часто потерявшими человеческий облик! Мысль моя состояла в том, что надзиратели должны служить на срочной основе и время службы должно быть очень коротким. Служба эта может быть и альтернативной службе в армии. Тогда и надзиратели не будут деградировать, и к заключенным будут относиться гуманнее.

За все дни пребывания в сизо нам так и не предъявили никаких документов с основаниями для ареста. В день, когда закончилась юбилейная сессия Верховного Совета, нас стали вызывать из камеры с вещами по одному, не говоря, куда и зачем вызывают. Возвращали отобранные вещи и деньги, и, открыв какую-то дверь на улицу, говорили: идите вниз, через сквер, и там увидите вокзал.

В сквере ждали ребята, выпущенные раньше. Когда все собрались, кто-то сказал: «Посмотрите, а тюрьмы-то нет!».

Мы оглянулись и обомлели. На взгорке, где должна была стоять тюрьма, тянулись обычные двухэтажные провинциальные дома. Кафка! Видимо, тюрьма с ее забором и корпусами была упрятана за домами, и снизу из-под горы не была видна. Какие-то из этих домов, очевидно, принадлежали тюрьме, и через них нас выпустили на свободу. Здесь надо отметить, что не меньше, чем освобождению, радовались мы и тому, что выпустили нас без специальных бесед с чинами из КГБ, как это обычно практиковалось после временных, превентивных задержаний.

Когда я приехал домой, никого в квартире не было. Жена куда-то ушла, а сын, как я уже говорил, находился у «друзей по борьбе». Я хотел позвонить маме, но телефон по-прежнему молчал: все еще был отключен. Но только я успел побриться и принять душ, раздался телефонный звонок. Звонила мама. Позвонила на всякий случай. Жена сказала ей, что после окончания сессии Верховного Совета нас могут выпустить.

И буквально через пару минут после разговора с мамой вновь зазвонил телефон. Низкий, властный мужской голос: «Вадим Владимирович? Здравствуйте! С вами говорят из Московского управления Комитета государственной безопасности». Говоривший представился генералом КГБ Карповым Ярославом Васильевичем. (Имя и отчество запомнил на всю жизнь!) Он сообщил, что у него лежит моя просьба о разрешении на эмиграцию, что мне скоро его могут дать, но в деле есть «некая запятая», и он, Карпов, относясь с большим уважением ко мне, хотел бы прояснить вопрос, чтобы убрать эту «запятую». Короче, приглашал встретиться!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Мы-то радовались, что отделались без подобных бесед. И как был выбран момент: в тюрьме-то я был ко всему готов, а тут — расслабился, возликовал и — как серпом по одному месту! Потом выяснилось, что только я один был удостоен такого звонка.

Поражала и отточенная техника Карпова. Каждое лыко было в строку, каждое слово — рассчитано. На вопрос, когда бы я мог встретиться с ним, я ответил, что только приехал из тюрьмы, из Волоколам-ска («Ах!» — издал он звук. Он, видите ли, ничего об этом не знал), и должен прийти в себя.

— И сколько времени Вам надо, чтобы «прийти в себя»? — спросил он с тонкой иронией. Не помню, что я ответил, и Карпов предложил встретиться на другой день. Но это было воскресенье! Я указал ему на это. Карпов ответил, что для него это не имеет значения. И у меня похолодело в животе от этой спешки, которая говорила о серьезности моего дела. Я попросил номер его телефона, чтобы позвонить ему, но Карпов воскликнул, зачем мне беспокоиться, он сам мне позвонит. На прощание небрежно бросил, что он надеется, что эти переговоры останутся между нами.

Я кинулся советоваться с диссидентами. Мне сказали, что Карпов — это очень серьезно, что он не ведет мелких дел, что все, кем он занимался, «садились». В частности, он вел дело

«самолетчиков» и Якира с Красиным. Неприятно поразила меня история, как Карпов подготовил Красина к «расколу». Карпов сказал ему, что он скоро получит разрешение на эмиграцию, и Красин разрешение действительно получил, и — был взят, арестован тепленьким перед посадкой в самолет!

Одни ветераны советовали мне идти к Карпову: ведь от него же зависит твоя виза. Другие — ходить не советовали: он очень опасен, он переиграет тебя. Я решил дать факту интереса ко мне со стороны Карпова максимальную огласку, видя в этом шанс для себя. Я стал звонить всем моим знакомым «коррам» и рассказывать о Карпове. Рассказывал об этом и звонившим мне время от времени из США и Израиля активистам организаций, помогавшим советским евреям.

Советовался с Сахаровым. Он подтвердил все, что я уже узнал о Карпове, и посоветовал мне готовиться к самому худшему развитию событий, а также рекомендовал поговорить с Шихановичем, которого он очень уважал и у которого был большой опыт общения с чекистами. И Юра Ших, как называли его среди диссидентов, дал мне, возможно, спасительный совет: ни в коем случае «не играть в его (Карпова) игру», не ходить к нему и даже по телефону ни о чем с ним не разговаривать по существу дела. «Если он захочет, он тебя достанет! Но ему почему-то нужно, чтобы ты сам к нему пришел. Не облегчай ему работу! Скажи, что на предмет выезда ты готов говорить лишь с ОВИРОм и не намерен вести никаких конфиденциальных переговоров с КГБ».

Когда я сказал Карпову то, что посоветовал мне Шиханович, он удивился: ни на каком конфиденсе он не настаивает, просто он уверен, что я сам не захочу распространяться о нашей беседе...

Очень неприятная угроза! Может быть, мелькнула мысль, он узнал о моем сотрудничестве в прошлом с МГБ и хочет меня этим шантажировать?

Еще три раза звонил он мне в самое неожиданное время. И каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, холод разливался у меня в груди. Но когда звонил кто-нибудь из моих знакомых, я так радостно приветствовал звонившего, что чувствовал удивление на другом конце провода.

Встретиться с Карповым я упорно отказывался. И в те дни я впервые узнал настоящий страх. До самого отъезда каждый день я «ждал Карпова»: какого-либо вторжения КГБ, провокации, ареста. Только после 10 часов вечера, когда сотрудники КГБ по какому-то неписаному правилу прекращали до утра свою активную деятельность, я несколько оживал.

Люди, жившие в ту эпоху, помнят, какой леденящий ужас наводило ведомство КГБ и его люди. Как и Гестапо в Германии. Все понимали, что люди из КГБ могут сделать с тобой все, что им вздумается. Этот ужас тянулся от массовых арестов, пыток и расстрелов 37-го года.

Я обратил однажды внимание на то, что тротуары возле лубянского управления КГБ всегда были пусты, в то время, как тротуары напротив — переполнены народом. Пешеходы старались держаться подальше от этого здания! Тоже самое можно было наблюдать и около домов ЦК на Старой площади. Когда я, участвуя в голодовке «за Маркмана», переходил улицу к зданию ЦК, чтобы войти в приемную ЦК, я ощущал словно бы уплотнение воздуха, энергетический барьер — барьер страха! который надо было силой преодолевать. А как страшно было, когда ты чувствовал, что за тобой идут! Страх, близкий к панике. Одного нашего товарища, которого сотрудники КГБ в штатском «вели» по городу до самого дома, стало рвать, ко-

гда он зашел в свою квартиру. А когда меня однажды допрашивали два сотрудника «органов» с липкими глазами преступников, я в какое-то мгновение не смог совладать с собой и лязгнул зубами от страха, ужасно испугавшись, не заметили ли этого мои «собеседники».

И мы постоянно жались друг к другу, чтобы ослабить тиски страха. Прорветались и беспорядочные сексуальные отношения. Над всеми висела секира КГБ, и люди спешили жить, как могли.

Сейчас, вспоминая то время, я с трудом понимаю, как я мог решиться вступить в войну с властью, с КГБ.

В эмиграции знаменитый бывший разведчик КГБ Хохлов (тот, который по приказу Хрущева должен был в Западной Германии убить одного из руководителей НТС, чем-то неугодного Москве, но сдался американцам) прояснил мне «игру» Карпова: он, видимо, хотел попробовать завербовать меня перед выездом и в любом случае — скомпрометировать добровольной беседой с ним, посещением КГБ.

Так подробно я рассказал о Карпове по той причине, что он оказался сложной, крупной (по роли) фигурой и его деятельность причудливо переплелась с линией моей жизни. Мне везло на такие переплетения.

Так вот, в перестройку в «Огоньке» появилась статья некоего пенсионера, отставного полковника КГБ Ярослава Карповича. Да, моего «генерала Карпова»! Звание себе он повышал, очевидно, для устрашения диссидентов. В статье он разыгрывал из себя раскаявшегося человека, уверял, что всегда относился с симпатией к диссидентам и, ведя их дела, старался им помочь. И самое интересное, рассказал в «Огоньке» и в «Литгазете», что в 70-е годы он был представителем НТС в СССР и даже был членом «Руководящего круга» (руководства) этой одиозной «антисоветской организации».<sup>1</sup>

Вожди НТС его вербовали, но вступил он в НТС по указанию своего начальства. Сообщения о своей деятельности для НТС и о руководителях этой организации он готовил для самого Андропова!

Потом по телевидению я видел документальный сюжет о встрече в Москве на Лубянской площади возле «соловецкого камня» (памятника жертвам политических репрессий) двух друзей: одного из лидеров НТС, Артемова, и «моего» Карпова-Карповича, которые вспоминали, как они «боролись» друг с другом. Ну, а члены НТС были в эмиграции моими свирепыми врагами и выпили достаточно моей крови. В особо критические периоды моей с НТС войны его руководители наверняка совещались с Карповичем обо мне. И когда он звонил мне в Москве, он уже был членом высшего руководства НТС. Вот как переплелось!

Осенью 1972 года я попытался избавиться от советского гражданства. Послал соответствующее заявление в Верховный Совет, но получил отказ.

И еще той осенью арестовали Юру Шихановича, глубоко уважаемого мной человека. Арестовали его через несколько часов после того, как мы с ним виделись. «Что-то я сегодня заметил за собою «хвост». К чему бы это?» — сказал он при встрече.

---

<sup>1</sup>См.: Карпович Я. «Наш человек в НТС» (интервью с Ю.Щекочихиным)//Литературная газета, 5 декабря 1990г.

Через несколько часов мне позвонил уже известный читателю Володя Гершович и сообщил, что Ших арестован и у него идет обыск. «Ты куда пропал?» — спросил он, не слыша моего голоса. А у меня голос отнялся. Я понимал, что Шиха арестовали «всерьез и надолго», может быть, навсегда! Так воспринимались тогда аресты. Но я не решился поехать к нему на обыск, как то полагалось для друзей, потому что боялся встретить там Карпова, и помнил, что дал Шихановичу на сохранение мои бумаги, которые теперь должны были оказаться в руках коллег Карпова. Об этом тяжело вспоминать.

При одной из наших последних встреч с Шихановичем, когда мы разговорились с ним о моем желании эмигрировать, он прочел изумительное стихотворение Чичибабина. Название я забыл, но запомнил последние слова:

...остающемуся — надежда,  
уходящему — меч!

Однако пора перейти к рассказу о Сахарове.